

Маленькая женщина. Франц Кафка

Это маленькая женщина: довольно стройная, она носит, однако, туго зашнурованный корсет; я всегда вижу ее в платье из желтовато-серой материи, цветом напоминающей древесину; того же оттенка рюши, которыми оно бывает обшито, либо бляшки наподобие пуговиц; она всегда без шляпы, белокурые тусклые волосы не завиты и не то чтобы растрепаны, но содержатся в живописном беспорядке. Несмотря на тугую шнуровку, маленькая женщина подвижна и нередко даже злоупотребляет своей подвижностью; особенно любит она упереть руки в бока и поразительно быстро откинуться в сторону туловищем. Впечатление от ее руки я могу передать, только сказав, что в жизни не видал так широко расставленных пальцев; впрочем, это самая обыкновенная рука, без анатомических изъяснов.

Маленькая женщина крайне недовольна мной. Вечно она попрекает меня, вечно я сержу ее, обижаю на каждом шагу. Если бы разделить мою жизнь на мелкие частицы и судить о каждой в отдельности, любая вызвала бы ее раздражение. Часто я думал над тем, почему так раздражаю ее; допустим, все во мне коробит ее вкус, задевает чувство справедливости, противоречит ее привычкам, представлениям, упованиям, – есть такие взаимоисключающие натуры – но почему она так страдает? Отношения наши вовсе не таковы, чтобы из-за этого терзаться. Стоит ей только взглянуть на меня как на постороннего – а ведь я для нее действительно посторонний и не только не противлюсь такому взгляду, но первый порадовался бы от души, – стоит ей просто забыть о моем существовании, которое я никоим образом не навязывал ей и впредь не собираюсь навязывать, – и всех мук как не бывало. О себе уж не говорю, хотя и мне ее поведение в тягость; но я понимаю, что мои тяготы ни в какое сравнение не идут с ее страданиями. И, разумеется, я отдаю себе отчет в том, что это не страдания любящего существа; эта женщина меньше всего хочет исправить меня; к тому же пороки, которые она во мне порицает, отнюдь не помеха моей жизненной карьере. Но до карьеры моей этой женщине мало дела, у нее своя цель, а именно: отомстить за нынешние муки и по возможности оградить себя от мук предстоящих. Как-то я попытался втолковать ей, каким способом можно положить конец ее беспрестанному раздражению, но этим лишь вызвал такую бурю, что навсегда зарекся от подобных опытов...

Если угодно, виноват тут и я; хоть эта маленькая женщина мне совершенно чужая и все наши отношения сводятся лишь к обидам, причиняемым мною, – вернее к обидам, которые она мне приписывает, – следовало бы все же помнить, что это плохо отражается на ее здоровье. Мне часто сообщают, особенно в последнее время, что она встает утром с головной болью, бледная от бессонницы, совершенно разбитая; ее близкие крайне этим обеспокоены, они судят и рядят, доискиваясь причин, но пока что их не обнаружили. Один я знаю причину: все то же старое и вечно новое недовольство мной. Я, впрочем, не разделяю тревоги ее близких; она крепкого сложения и достаточно вынослива; кто способен так злиться, тому, надо полагать, вред от злости не слишком велик. Подозреваю даже, что маленькая женщина – в известной мере, возможно, – лишь прикидывается страдальцей, дабы таким образом привлечь внимание окружающих к моей особе. Гордость не позволяет ей открыто сознаться, как сильно я докучаю ей своим существованием; прямо обратиться к помощи посторонних для нее слишком унижительно; моей персоной она занята из отвращения, непрерывного, вечно поджуживающего отвращения; но стать предметом людских пересудов – это уж слишком! Скрывать же свое невыносимое состояние ей тоже тяжело. И потому в женской своей хитрости она предпочитает остановиться на полпути; молча, лишь едва заметными признаками выдает она свою затаенную муку и в таком виде выносит дело на суд света. Быть может, она тайно надеется, что в один прекрасный день свет обратит на нас свое недремлющее око, на меня обрушится волна всеобщего негодования и я буду беспощадно раздавлен – куда вернее, чем ее собственным бессильным гневом; тогда она умоет руки, с облегчением вздохнет и навсегда от меня отвернется. Так вот, если она действительно на это надеется, то зря. Свет не возьмет на себя ее роли; и ему не найти во мне того множества пороков, какое ей угодно, даже если возьмет меня под строжайшее наблюдение. Не такой уж я никудашный, как мнит эта маленькая женщина; хвалить себя вообще не стану, тем более по такому поводу, ведь я не бог весть какой полезный член общества, но и не последний же я человек; лишь для нее, лишь в ее глазах, сверкающих гневом, я существо пропащее – других ей не убедить. Итак, казалось бы, мне можно спать спокойно. Какое там! А вдруг все-таки скажут, что женщина больна из-за меня! Кое-какие соглядатаи, любители сплетен, возможно, уже близки к разгадке ее недуга или по крайней мере притворяются, что близки. Вдруг люди спросят, почему я так мучаю своей неисправимостью бедную маленькую женщину – не иначе, как задался целью вогнать ее в гроб, – и когда же наконец я образумлюсь или хоть наберусь простого человеческого сострадания? Если зададут мне подобные вопросы, ответить будет нелегко.

Признаться ли, что не больно-то я верю в симптомы болезни? Но тем самым, обеляя себя, я буду чернить ее, да еще в такой некрасивой форме! Ведь не скажешь открыто, что если б я даже поверил в болезнь, то сострадания бы не испытывал, ибо эта женщина мне решительно чужая, – отношения между нами установила она сама, и лишь она их поддерживает. Не стану утверждать, что мои слова взяли бы под сомнение; скорее всего, люди бы промолчали, они и верили бы мне и не верили, но мой ответ касательно слабой больной женщины был бы взят на заметку и не расположил бы свет в мою пользу. На сей раз, как и всегда, люди не способны будут понять, – хотя это ясно как день, – что в наших взаимоотношениях любви и нежности нет ни на волос, а существуй любовь, заслуга была бы только моя; пожалуй, я способен был бы даже восхищаться категоричностью суждений и беспощадностью выводов маленькой женщины, если бы не мне приходилось солоно от этих ее достоинств. Но уж с ее стороны дружеских чувств нет и в помине; вот уж в чем она чистосердечна и искренна! Только на этом я и основываю свою последнюю надежду; даже если бы в ее план военных действий входило создать видимость подобных чувств, дабы свет поверил в них, она никогда не совладала бы с собой настолько, чтобы ей это удалось. Но суд людской не переубедишь – с присущей ему тупостью он вынесет мне свой неумолимый приговор.

Таким образом, мне ничего иного не остается, как своевременно, прежде чем другие вмешаются в мои дела, измениться самому по доброй воле: не то чтобы не вызывать больше гнева маленькой женщины – это немислимо, – но хотя бы несколько смягчить его. И в самом деле, часто спрашивал я себя, да неужто нынешнее положение так меня устраивает, что и менять его не стоит, и не лучше ли его несколько изменить – пусть мне самому это и не очень важно, но хотя бы ради душевного спокойствия маленькой женщины. Я честно пытался исправиться, не щадя труда и сил, вкладывая в это дело всю душу, что почти забавляло меня; перемены в моем поведении явно

обозначились, мне даже не пришлось обращаться на них внимание женщины – она подмечает это гораздо раньше меня, она подмечает и тень доброго намерения; но успеха я так и не добился. Да и как это возможно? Ее недовольство мной, я теперь вижу, носит принципиальный характер; ничто не в силах устранить это недовольство, даже устранение меня самого; узнай маленькая женщина о моем самоубийстве, ее охватила бы безграничная ярость. Не представляю, чтобы она, особа пронзительная, не видела всего так же ясно, как я, не понимала в равной мере как бесплодности своих упреков, так и моей невинности, моей неспособности при всем желании удовлетворить ее требованиям. Конечно, она все понимает, но – как натура подлинно боевая – забывает обо всем в угаре боя; я же, в силу несчастливой черты моего характера, которую не могу изменить, ибо она заложена во мне от рождения, склонен каждому, кто выходит из себя, шепнуть на ухо ласковое слово. Но ведь так мы никогда не столкнемся! Радость первых утренних часов при выходе из дому всегда будут отравлять мне эти надутые губы, это хмурое лицо, испытующий, заранее неодобрительный взгляд – ничто не укроется от него, каким бы беглым он ни казался; горькая улыбка, искажающая девические щеки, жалобное закатывание глаз к небу, руки, в праведном гневе упертые в бока, бледность и дрожь негодования.

Недавно я позволил себе – впервые, как сам с удивлением отметил, – слегка намекнуть на свою беду одному доброму другу; разумеется, между прочим, двумя-тремя словами, всячески умаляя значение дела, и без того для меня не слишком важного. Любопытно, что мой друг отнюдь не пропустил этих намеков мимо ушей, напротив, счел предмет достаточно значительным и не дал мне перевести разговор на другую тему. Но еще удивительнее, что при этом он так и не понял самого главного в моем положении, а совершенно серьезно посоветовал уехать ненадолго из дому. Глупее совета нельзя и придумать! Хотя со стороны все как будто просто и всякий, кто пожелает вникнуть в наши отношения, без труда в них разберется, однако все не так просто, чтобы уладить дело – хотя бы в основном – одним отъездом. Как раз наоборот, отъезда-то и надо опасаться больше всего; если уж выбирать какую-то линию поведения, то важно оставаться в теперешних узких границах, не выносить дело на люди, сиречь хранить покой, не допуская бросающихся в глаза перемен; следовательно, и советоваться ни с кем не надо – не потому, чтобы здесь крылась какая-то роковая тайна, но лишь потому, что все дело-то ничтожное, чисто личное и в таком виде легко переносимое, а значит, только таковым оно и должно остаться. И в этом смысле замечания друга мне весьма пригодились; правда, ничего нового я не узнал, зато лишний раз убедился в собственной правоте.

При ближайшем рассмотрении мне вообще становится ясно, что те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены: меняется только мой взгляд на вещи. Отчасти я стал спокойнее, мужественнее относиться ко всему, глубже проник в существо дела, отчасти – из-за непрерывного раздражения по мелочам – стал заметно более нервным.

Я спокойнее взираю на вещи, сознавая, что развязка, как ни близка она кажется порой, еще не так скоро наступит; человек, особенно в молодости, преувеличивает вероятность развязок; когда однажды моя маленькая обвинительница от одного моего вида рухнула в изнеможении, как-то боком, в кресло, одной рукой обвив его спинку, а другой теребя тугую шнуровку, и слезы гнева и отчаяния ручьем потекли по ее щекам, я было подумал, что вот она развязка, наконец-то меня призовут к ответу. Ничего подобного, никто и не думает звать! Женщинам часто становится дурно, и свету не углядеть за всеми сценами такого рода. Что же, собственно, происходило все эти годы? Да ничего, разве что подобные сцены – то более, то менее бурные – повторялись, и число их изрядно возросло. Да еще всякие люди толкнутся поблизости, готовые вмешаться, был бы только повод; но повод все не представляется; они по-прежнему уповают на свое чутье, а чутье годится лишь на то, чтобы заполнить их досуг – проку от него немного. Так, собственно, было всегда, всегда хватало праздных бездельников; они чувствуют, откуда ветер дует, свое присутствие оправдывают всяческими хитростями, а чаще всего ссылкой на узы родства; они всегда держат уши на макушке, но так и остаются на бобах. Но теперь я всех их знаю в лицо; раньше я полагал, что они стекаются отовсюду, дело растет, как снежный ком, а значит, развязка не за горами, она наступит сама по себе, ходом обстоятельств; теперь я пришел к выводу, что так было спокон веку и нечего ждать развязки. Развязка? Не слишком ли громкое слово я выбрал? Если когда-либо – разумеется, не завтра и не послезавтра, а может быть, и вообще никогда – дойдет до того, что люди займутся этим делом, каковое, настаиваю, не в пределах их компетенции, то я, конечно, не выйду сухим из воды, но надеюсь, в соображение будет принято, что меня давно знают, живу я при полной гласности, сам доверяю обществу и снискал его доверие; и что эта маленькая страдальца появилась уже гораздо позже (к слову сказать, всякий, кроме меня, не только распознал бы в ней прицепившийся репей, но давно уже – совершенно бесцумно и незаметно для света – раздавил бы этот репей сапогом). Итак, в худшем случае женщина прибавит лишь маленький уродливый росчерк к аттестату, в котором общество давно признало меня своим достойным уважения членом. Такого положение вещей на сегодняшний день, и оно не слишком должно меня беспокоить.

С годами я все же стал несколько нервнее, но это никак не связано с сутью дела; просто невозможно выдержать, когда все время кого-то раздражаешь, даже если понимаешь неосновательность этого раздражения; начинаешь тревожиться, напрягаешься физически в ожидании развязки, хотя разумом не очень в нее веришь. А частично дело здесь просто в возрасте. Молодость все рисует в розовом свете; уродливые частности бытия тонут в неисчерпаемом приливе юных сил; если у подростка взгляд несколько настороженный, то это его не портит, никто и не заметит этого взгляда, даже он сам. Но на старости лет остаются одни последки, все идет в дело как есть, ничего уже не поправишь, все на виду, и настороженный взгляд старика – это уже, вне всяких сомнений, настороженный взгляд; установить, что он именно таков, совсем не трудно. А ведь по существу и здесь дело не изменилось, и хуже со временем не стало.

Итак, с какой стороны ни взгляни, выходит (и я на том стою), что если только слегка прикрыть это дельце от людского ока, то я без всяких помех со стороны смогу еще очень долго и спокойно сохранять тот образ жизни, который вел до сих пор, – пусть себе беснуется эта маленькая женщина!